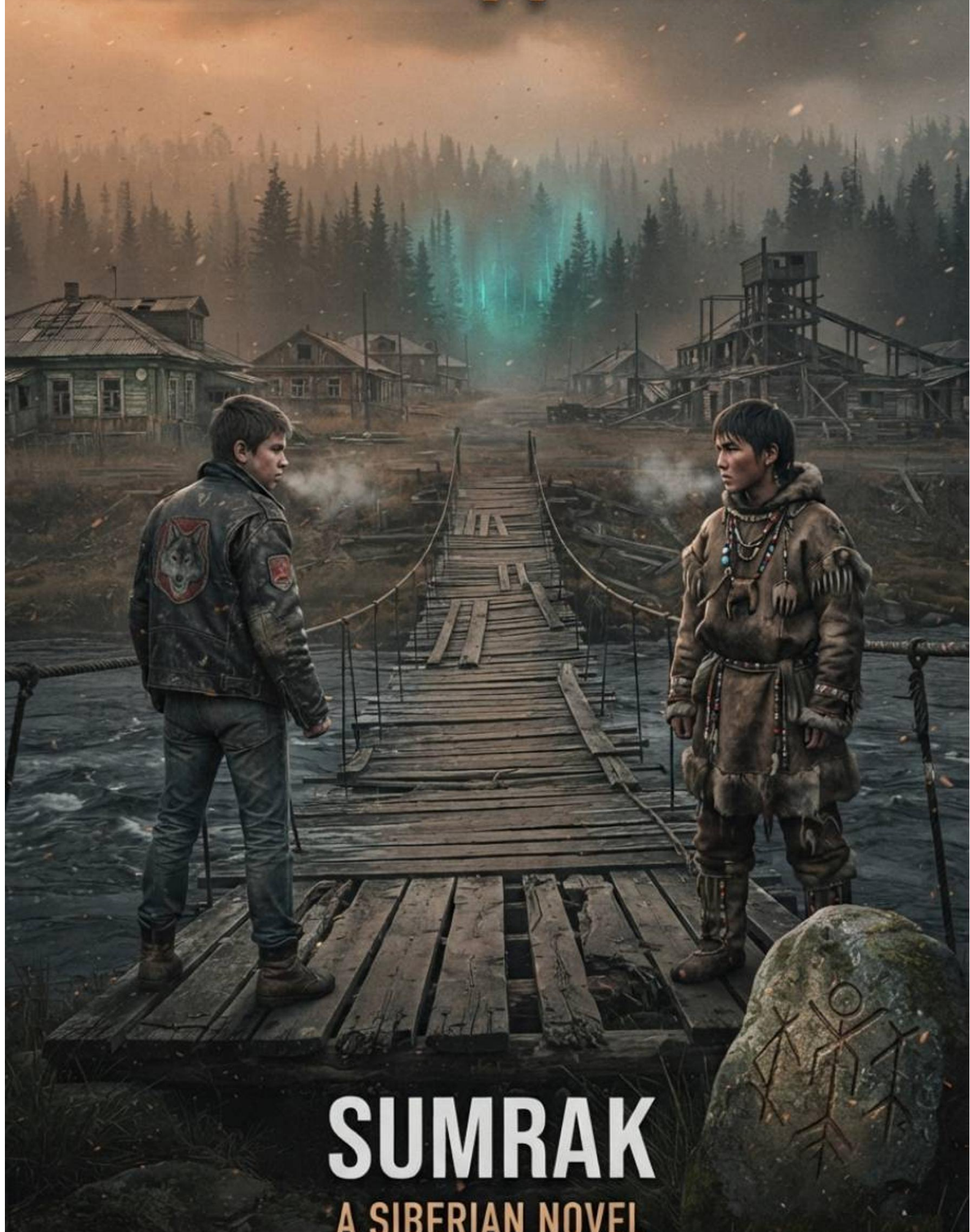


ПЕПЕЛ НАД ТАЙГОЙ



SUMRAK

A SIBERIAN NOVEL

Sumrak

Пепел над тайгой

«Автор»

2026

Sumrak

Пепел над тайгой / Sumrak — «Автор», 2026

Лето 1993 года. Колымажск — умирающий сибирский городок, где давно закрыт лесхозкомбинат, а люди выживают за счёт случайных запасов и старых долгов. Две банды подростков — русские «Волки» и эвенкийские «Тени тайги» — делят территорию, еду и право дышать. Иван и Аня стоят по разные стороны этой войны, но пока не знают, что настоящий враг ещё не показал лица. Первые две главы — это холодный, шершавый на ощупь нуар о голоде, вражде и странной тревоге, которая ползёт из тайги. Сначала кажется, что всё просто: украденный олень, следы чужих сапог, спор за магазин «Рассвет». Но по ночам земля едва заметно дрожит. Камни отзываются на шаги. А со стороны Чёрной Сопки идёт низкий гул, которого здесь не должно быть. Никто пока не знает, что это значит. И узнавать, возможно, уже поздно.

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	14

Sumrak

Пепел над тайгой

Глава 1

ГЛАВА 1

Иней на пилах

Холод пробрался под бушлат, сдавил рёбра, выдернул из тяжёлого сна. Иван открыл глаза. Над ним — бетонный свод цеха, исчерченный трещинами, как ладонь старика. Он лежал на куче прелой мешковины в углу столярного цеха. Воздух пах ржавым металлом и сырой древесной трухой. Дыхание выходило редкой струйкой пара.

Июль на дворе. А холод стоял такой, будто за стенами ноябрь.

Он сел. Спина затекла. Сплюнул на пол — слюна тёмная, с привкусом древесной пыли. Ладони сжал в кулаки, разжал. Пальцы слушались плохо. Иван дышал на них, растирал друг о друга, чувствовал, как кожа скрипит, словно наждачная. В кармане бушлата лежал маленький кусок кварца — молочно-белый, с неровным сколом. Иван не помнил, когда подобрал его. Кажется, ещё мальчишкой, на Сопке. С тех пор носил с собой, как другие носят крестик или монету.

Утро едва пробивалось сквозь запылённые окна. В цехе стоял полумрак. На стене у верстака висел самодельный календарь — кусок фанеры, расчерченный на квадраты. В каждом квадрате — насечка. Не крестик, не точка. Глубокий рез, как зарубка на стволе. Иван сам делал их каждое утро. Сегодняшняя, ещё свежая, белела на тёмном дереве — глубже всех остальных. Он не знал, почему. Просто рука сама взяла нож и резанула сильнее.

У верстака, придвинутого к стене, висели две циркулярные пилы. Огромные, с выщербленными зубьями. Иней покрывал каждый зуб — тонкий, от влажного воздуха. Днём, когда печь разгорится, он растает. Иван отвёл взгляд.

— Проснулся? — голос раздался сбоку, сиплый, как просыпавшийся под сапогом шлак.

Серый сидел на табурете, расставив ноги. Перед ним на тряпице лежали патроны, и он перекладывал их с места на место, будто раскладывал пасьянс. Нашивка на кожанке — выцветшая волчья морда, распыленная по шву. След от старого ожога тянулся от уха до подбородка, стягивал кожу, делал губу чуть вздёрнутой. Он не поднял головы.

— Давно ты так? — Иван спустил ноги на пол. Пол обжёт через кирзовую подошву.

— Часа три, — Серый отложил патрон, взялся за следующий. — Ты скрипел во сне. Зубами. Будто грыз что-то.

— Приснилось.

— Ага. — Он поднял глаза. Они были бледные, выцветшие, как вода в проруби. — Мне тоже. Снилось, что нас всех засыпало. Проснулся, думал — снег. А это твоя пила инеем обросла.

Иван не ответил. Поднялся. Тело слушалось медленно. Он натянул бушлат, застегнул на верхнюю пуговицу, поднял воротник. В углу, у выхода из цеха, стояла железная бочка. Внутри трещали дрова, огонь едва держался — сырые, плохо колотые. Дым стелился низко, сизый, цеплялся за щиколотки. В цехе держалось не больше семи градусов: печь топили вполсилы, дров жалели. Промозглый, подвальный дух, от которого ныли суставы. Не по-июльски. Но все давно привыкли — как привыкают к стуже в старом доме.

Бородач сидел у бочки на перевёрнутом ящике. Рыжая борода висела ключьями, в ней запуталась стружка. Плечи широкие, как у пудового молота. Ручищи висели между колен, ладони повернуты к огню. Он ворчал негромко, будто разговаривал с самим собой.

— Встал, командир? — сказал он, не оборачиваясь. — А я всё думаю, чего этот возится. Спать невозможно.

Иван подошёл к бочке. Протянул ладони. Жар был слабый, больше для виду. Дрова в бочке догорали, верхние щепки превратились в белёсые угли, ещё не остывшие. Где-то внутри стрельнул сучок.

— Ты их не жалеяй, — Бородач кивнул на дрова. — Всё равно лето. Днём растопим заново. А сейчас пусть горят, пока дрожь из костей не выйдет.

— Запас беречь надо, — Иван повернул ладони тыльной стороной к огню. Пальцы всё ещё не сгибались до конца. — Не знаешь, что к вечеру будет.

— К вечеру дождь будет, — Бородач почесал бороду. — У меня спина ноет. А у него вон дело. Все при деле.

Серый ссыпал патроны в карман, поднялся. Металл звякнул коротко, сухо.

— Обход сегодня, — сказал Иван. — Идёшь ты, Серый. Возьмёшь Бородача.

— Одному мне скучно будет. — Серый потянулся, хрустнув шеей. — А вдвоём веселее. Особенно если наткнёмся.

— На кого? — Бородач хохотнул, но не развеселился. — Тут все свои. Мир уже кончился, а всё никак не решат, что по такому случаю друг друга резать пора.

— Решат к обеду. — Иван сунул руки в карманы. Пальцы сами нашли кварц, сжали — привычно, как чётки. — Сегодня идём за консервами в «Рассвет». Склад на Лермонтова. Туда двое суток не совались. Если продукты целы, у нас запас. Если нет — у Кати морфин на дне. Кого зацепит — резать будем без наркоза.

— Зачем аптеку? — Серый убрал руки в карманы. — У нас здоровых больше, чем больных.

— Морфин — не аптека. Морфин — чтобы человек не сдох от боли, пока ты ему ногу отпиливаешь. Всё, собирайтесь.

Бородач недовольно засопел. Встал, уперев ладони в колени. Ящик скрипнул под его тяжестью. От бочки потянуло горьким дымом.

— Дай хоть чаю вскипятить.

— Вскипяти. — Иван отошёл к окну. Протёр ладонью запотевшее стекло. Снаружи — пустой двор, заросший борщевиком, ржавый остов «ГАЗона». Небо низкое, серое, как бетонная плита. Ни дождя, ни солнца. Июль, а небо — как в конце октября. Стекло запотевало под ладонью, и стужа от него шла в руку, до самого локтя.

С потолочной балки, перечёркнутой трещиной, сорвалась капля. Упала на верстак, звонко, как монета. За ней вторая. Иван проводил их взглядом. В углу, где сходились стены, изморозь лежала плотным белым налётом — та же сырость, что и везде. К вечеру, когда печь протопят как следует, она сойдёт.

Серый поднялся, потянул кожанку на плечах. Затянул ремень. Скулы заострились, губы сжались.

— Если выходим — то сейчас. Потом только зря выстудимся.

— Выходим через десять минут. — Иван отвернулся от окна. — Проверь патроны. И ствол не морозь на улице. Держи под рукой.

— Я его лучше в руках подержу. Так теплее.

Бородач поморщился, махнул рукой. Пошёл к ящику с дровами. Доски стукнули, из бочки полетели искры. Капель с балки теперь срывалась одна за другой. Иван смотрел на лужицу, что расплзлась по верстаку, и думал, что раньше эта балка не текла. Ни вчера, ни позавчера. Только сегодня.

Он не верил ни в приметы, ни в сны. Но что-то в этом утре было не так. Слишком тихо. Слишком зябко для лета. И слишком блестела сталь на верстаке — как будто ждала.

Они вышли через боковую дверь столярного цеха. Ржавая петля взвизгнула, как раненая птица. Иван поёжился, поднял воротник. Утренний озноб, непривычный для июля, держался в тени здания. Воздух, который должен был быть тёплым, обжигал лёгкие. Под ногами хрустел гравий, смешанный с битым стеклом и прелыми опилками. Пахло мокрой землёй, старым машинным маслом. Где-то за деревьями шумела река — глухо, неразборчиво, словно кто-то огромный ворочался в воде, не в силах ни проснуться окончательно, ни заснуть снова, и это ворочание отдавалось в земле, в стенах, в костях.

— Слышишь? — Серый шагнул следом. — Река всё никак не уймётся. Как живая.

Иван не ответил. Шёл вдоль бетонного забора, на каждом шагу проверяя землю под ногами. Здесь, по периметру, ещё с ночи стояли растяжки — тонкая стальная проволока, натянутая поперёк проходов. Ловушки не против людей. Против тех, кто мог прийти из леса. От них тоже.

— Чего затих? — Серый потёр ладонью рот, будто смахивая что-то. Губы у него были синеватые, след от ожога на скуле блестел от сырости. — Будто сам не знаешь, что жрать нечего. Склад у реки уже пустой. Мы его в прошлый вторник выгребли подчистую. А «Рассвет» — это если только прорвёмся.

— Прорвёмся, — Иван остановился у первой растяжки. Проволока провисла, едва не касаясь земли. Он присел на корточки, подцепил её двумя пальцами, натянул. Петля на колышке ослабла. Он затянул узел, обмотал вокруг ржавого штыря, закрепил. — Кто тут лазил ночью?

— Может, ветер.

— Ветра ночью не было.

Серый подошёл ближе, заглянул через плечо Ивана. Дыхание у него сделалось короче.

— Думаешь, они подходили?

— Думаю, плохо ты затянул вчера. — Иван распрямился, хмуро глянул на него. — В следующий раз проверяешь сам. Все шесть узлов. Если где-то ослабнет — уже не узнаем, кто ходил.

Они двинулись дальше. Гравий шуршал под кирзой, в ботинки набивалась мелкая пыль. Серый несколько раз оглянулся на реку. Потом, не выдержав, заговорил снова:

— У «Теней» есть запас. Ты же знаешь. Они после той суки с пилорама унесли два мешка крупы. Я своими глазами видел. Сидят там у себя в низине, как крысы, жрут.

— Не трогай, — Иван не сбавил шага. — Сегодня «Рассвет». Если там пусто, тогда подумаем.

— Зачистить и вынести — вот и всё, что думать. Они нас не ждут. — Серый осклабился. — Позиция у них — дерьмо. Низина, подходы открытые. Я ихний дозорный пост с одного взгляда считаю.

— Они тоже голодные. — Иван свернул к стене цеха, где в тени ещё лежал слежавшийся снежок. Нет, не снежок — просто серый мох, прихваченный утренней сыростью. — Сейчас каждая пайка на счету. Если начнём резать своих — завтра от нас только кости останутся.

— Это не свои. Это «Тени». — Серый дёрнул головой, будто сбрасывая что-то. — Ты сам говорил: свой — это тот, кто в цехе. А эти — как бродячие псы. От них ждать нечего.

Иван не ответил. Они подошли к следующей растяжке, натянутой между двумя вкопанными железными прутьями. Здесь проволока была цела, но вибрировала. Едва заметно. Иван наклонился, прислушался. Внутри что-то звенело — не то от реки, не то от натяжения. Он тронул проволоку носком ботинка. Та отозвалась низким, почти неслышным гулом.

— Хватит её дёргать, — Серый отступил на шаг. — Взорвётся.

— Не взорвётся. — Иван выпрямился. — Она просто натянута как струна. Чем-то зацепили.

Он обвёл глазами двор. Гравий, ржавая цистерна из-под солярки, куча старых поддонов. За цистерной — мокрое пятно на земле, будто кто-то опрокинул ведро. Но ведра не было. Пятно тянулось к стене.

— Смотри, — Иван кивнул. — Здесь кто-то стоял.

Серый зашёл сбоку, вытянул шею.

— Может, Бородач по нужде выходил.

— Он внутрь ходит, в отстойник.

— Тогда Катя.

— Катя не заливает по литру у стены.

Они подошли ближе. На бетонной стене цеха, на высоте плеча, темнели старые, выцветшие буквы, выцарапанные задолго до нынешних холодов. «ОНИ БЛИЗКО». Борозды были забиты пылью и ржавчиной. Рядом с последней буквой Иван заметил едва различимый символ — вертикальная линия с тремя ветвями в незамкнутом круге. Огненное Дерево. Иван где-то видел этот знак раньше, но не мог вспомнить где. Может, в старых бумагах, может, ещё мальчишкой — нацарапанный на парте или на камне.

Иван замер. Руки сами опустились из карманов. Палец зацепился за петлю разгрузки, потянул её вниз. И тут он понял, что не знает, что делать. Стоял, смотрел на эти слова — и не понимал. Не «предчувствовал», не «догадывался». Просто не знал. Слова были старые, стена — своя, надпись он видел тысячи раз. Но сегодня что-то в ней было не так. Что-то, чего он не мог назвать. И от этого незнания становилось хуже, чем от любой угрозы. Серый рядом задержал дыхание, потом выпустил воздух через нос, с шумом, как из спущенной камеры.

— Опять она, — сказал Серый, и голос у него сел. — Всё торчит тут. Я мимо неё сто раз ходил, а сегодня аж мороз по коже.

— Не сто, а тысячу, — Иван коснулся надписи кончиками пальцев. Бетон был ледяной. Буквы пахли сыростью, и на дне бороздок собиралась влага. — Странно.

— Чего странно?

— Что я её раньше не замечал. — Иван отступил. Осмотрелся. Двор по-прежнему пуст. Река шумела громче, будто подкралась ближе. В ушах появился тонкий звон, похожий на тот, что бывает у полуночной ЛЭП. Но никакой ЛЭП рядом не было.

— Может, свет так падал, — Серый зябко повёл плечами. — Или глаза у тебя раньше не туда смотрели. А она тут с незапамятных времён. Ещё отцов наших, наверное, пугала.

— Отцы её не писали, — Иван покачал головой. — Но кто-то оставил. И кто-то зачем-то бережёт.

Он быстро глянул на растяжку. Та больше не вибрировала. Замерла. И в этой тишине показалось, что надпись смотрит на них из стены. Как будто дышит.

— Уходим с улицы, — Иван взял Серого за рукав. — До «Рассвета» добираемся через нижний двор. Там тропа вдоль коллектора.

— А если там...

— Там всегда кто-то есть. Зато не через открытое место.

Они развернулись и пошли обратно к цеху. Шаги стали быстрее. Гравий стучал под каблуками. Иван слышал, как Серый сзади растянул кобуру и положил ладонь на рукоять. Хороший звук. Только от него не становилось спокойнее.

У самой двери Иван остановился, обернулся. На стене, уже в тени, надпись поблёскивала, как потревоженный шрам. Ветер швырнул в лицо горсть мелкой пыли. Слова проступили снова.

— Всё, — сказал он. — Собираем людей. Выходим через двадцать минут.

Серый молча кивнул. Ржавая дверь взвизгнула во второй раз. Тяжёлая, как зверь, которого загнали в клетку.

Они были в десяти шагах от двери, когда за спиной треснула ветка. Потом ещё одна. Потом — торопливый топот, хруст гравия, частое дыхание. Иван обернулся первым, скинул руку с плеча на пояс, к кобуре. Серый уже держал ладонь на рукояти ножа.

Из-за угла цеха вылетел Дым. Молодой, длинный, весь какой-то нескладный, как жердь. Бушлат расстёгнут, из-под него торчала мокрая от пота рубаха. Дышал он так, что не мог выговорить ни слова. Согнулся, упёрся ладонями в колени. Только зажигалка в правой руке щёлкнула раз, другой. Бензиновая, с выщербленным колесом. Он всегда её крутил, когда волновался.

— Ты чего скачешь? — Серый шагнул навстречу. — Пожар?

Дым мотнул головой, выпрямился. Лицо красное, глаза круглые. От него пахло потом и речной сыростью — видно, бежал берегом.

— Олень, — выдавил он. — Олень ушёл.

— Какой олень?

— Наш. Который в ловушке. Я утром пошёл проверить, думал, живой ещё. А там — только кровь на земле и следы. Волокли к низине.

Иван медленно убрал руку с кобуры.

— Кто волок?

— «Тени». — Дым сунул руку в карман, словно искал что-то. — Я по следу прошёл. Свежие. Сапоги, двое. Может, трое. Потом на тропе след кончился — значит, там кто-то ждал с носилками или с волокушей. Я обратно. Думал, вы уже вышли.

Серый развернулся к Ивану. Лицо окаменело, губы сжались в нитку.

— Ну? — сказал он. — Доигрались. Я говорил утром — надо было к ним идти. А теперь они нашего оленя сожрут, а мы будем на пустой склад надеяться.

— Погоди.

— Чего годить? — Серый выхватил нож. Лезвие блеснуло, вобрало в себя серое небо. — Я сейчас двоих возьму. Пойду через овраг, обойду с запада. Через полчаса их мясо будет в нашей бочке вариться.

— Убери. — Иван сказал это тихо, ровно.

— Ты не командир мне.

— Убери, Серый.

Пауза. Ветер с реки шевельнул хвою на соснах, принёс запах воды и тины. Птица где-то далеко крикнула, одиноко. Серый держал нож ещё секунду, потом убрал в ножны. Резко, до стука. И тут Иван заметил: пальцы Серого, только что державшие рукоять, на секунду сложились в крестное знамение. Быстро, стыдливо — будто он сам этого не заметил. Старое, забытое движение, которое рука помнила лучше головы. Иван промолчал. И Серый промолчал.

— Ты слишком мягкий стал, — сказал он. — С того дня на пилораме.

— Заткнись. — Иван шагнул к Дыму. — Ты следы смотрел. Олень был ещё тёплый?

— Да. Кровь не свернулась.

— Тогда они недалеко. Если бы несли на низину, полчаса ходу. — Иван посмотрел на тропу, уходящую за деревья. — Может, ещё успеем.

— Успеем что? — Серый отвернулся, сплюнул в кусты. — Отбить тушу?

— Поговорить.

Они двинулись втроем. Дым шёл впереди, показывал дорогу, то и дело оглядываясь. Ветки хлестали по лицу, под ногами чавкала размокшая земля. Солнце так и не пробилось. Лёгкий ветерок с реки тянул тёплый, непривычный после стужи в цехе. Иван расстегнул верхнюю пуговицу бушлата.

Тропа вилась между соснами, спускалась в низину. Здесь трава стояла высокая, мокрая от росы. И тут Иван увидел след. Прямо на глине, у самой обочины — глубокий отпечаток

раздвоенного копыта. Олень прошёл здесь недавно. След был чёткий, края ровные. Кто-то тащил его, но след остался целым, будто зверь сам брел.

Иван присел. Провёл пальцами по отпечатку. Глина была стылая, влажная, но уже начала затягиваться корочкой. Следы оленя вели вниз, к развилке. А рядом — отпечатки сапог. Много.

— Вот, — сказал Дым, показывая вперёд. — Там они.

Из-за кустов, у самой развилки, вышли двое. Оба в телогрейках, оба с автоматами на плече. Один — молодой, с длинными волосами, второй — постарше, с перебитым носом. Увидев Ивана, они остановились. Не подняли оружие. Просто встали.

— Стоять, — сказал Иван. Он не кричал. Просто сказал, и его услышали.

— Чего надо? — человек с перебитым носом вышел вперёд. — Тропа общая.

— Олень был наш.

— Олень был в тайге. Ваша ловушка стояла на нашей стороне. Мы вчера ходили, смотрели. Там метка наша.

— Метку ставили весной. Её уже нет.

— Есть. — Парень с длинными волосами усмехнулся, покачал головой. — Может, ветром сдуло. Не наша проблема.

Серый сделал шаг вперёд. Иван перехватил его за локоть. Держал крепко. Молодой с длинными волосами, тот, что стоял чуть сбоку, медленно снял автомат с плеча. Не поднял, не прицелился — просто перехватил поудобнее, у бедра. Но Иван успел заметить, что предохранитель сдвинут. Флажок стоял на «огне».

Дым замер. Зажигалка в его руке щёлкнула — резко, громко, как выстрел в тишине. Все обернулись. Дым застыл, глядя на автомат, палец на колесе побелел. Он не дышал. Только зажигалка в кулаке мелко дрожала.

— Убери, — сказал человек с перебитым носом, не оборачиваясь.

Молодой помедлил. Потом сдвинул предохранитель обратно. Щелчок прозвучал громко, как выстрел. Он вернул автомат на плечо. Только после этого Иван почувствовал, как Серый под его рукой чуть расслабился. Дым выдохнул. Зажигалка в его руке щёлкнула ещё раз — тише, виновато.

— Мы не за мясом пришли, — сказал Иван, не глядя на автомат. — Мы пришли сказать: в следующий раз, когда сунетесь к нашей ловушке, я не буду разговаривать.

— А мы и не сунемся. — Человек с перебитым носом ухмыльнулся, но глаза его скопились на молодого, на автомат. Он тоже это видел. — Нам и этого хватит. До зимы доживём.

— Зимы не будет.

Все пятеро замолчали. Ветер снова прошёл по соснам, и Иван услышал тот самый звон в ушах — тонкий, тянущийся. След оленьего копыта на глине на секунду показался ему светящимся. Он моргнул. Нет, просто лужа воды в отпечатке поймала свет.

— Идите, — сказал Иван. — И скажи своим: если ещё раз увижу у наших мест — стреляю без разговора.

— Понял. — Человек с перебитым носом кивнул. — Взаимно.

Он развернулся и пошёл вниз, к низине. Долговязый — за ним. А молодой с автоматом задержался на секунду. Поднял голову. Посмотрел не на Ивана, не на небо — куда-то выше, за вершины сосен. И машинально, как делали старики перед грозой, перекрестился. Мелко, быстро. Не в церковном смысле. Просто — рука сама.

Иван заметил это. И ничего не сказал.

Серый вырвал локоть.

— Мы ихпустили.

— Да.

— Зачем?

— Нам нужен «Рассвет». — Иван повернулся к цеху. — Оленя не вернём. А патроны на них тратить — глупо.

Серый смотрел ему в спину. Молчал. Дым спрятал зажигалку в карман.

Обратно шли не той дорогой, что утром. Дым повёл в обход — через старый коллектор и заболоченный лог, где тропа петляла между кочками и дважды терялась в зарослях. Так было дальше, но безопаснее: открытое место они пересекать не стали. Когда выбрались к цеху, тени от сосен уже легли на двор. Над лесом висела та же серая хмарь — низкая, плотная, без единого проблеска. Иван глянул на неё и не увидел ничего, кроме хмари. Только где-то далеко, в стороне Чёрной Сопки, небо казалось чуть светлее. Не рассвет. Что-то другое. Мутное, как бельмо. Он не стал об этом думать.

Вернулись в цех, когда тени от сосен уже легли на двор. Внутри было тише, чем утром. Бочка почти погасла, только угли тлели красным, и от них тянуло слабым теплом. Иван закрыл за собой дверь, задвинул засов. Лязг металла прокатился по пустому помещению.

Бородач сидел на своём ящике у бочки, подкинул пару щепок. Огонь лизнул дерево, вспыхнул, осветил стены. Иван снял бушлат, повесил на гвоздь у верстака. В углах белела изморозь — та же, что и утром, но теперь казалась плотнее. Иван отвернулся. Сырость. Ничего больше.

— Ну что? — Бородач поднял голову. Борода у него была присыпана опилками, рыжая, широкая, как лопата. — Пусто?

— Пусто, — Иван подошёл к верстаку. Там лежала буханка чёрного хлеба, завёрнутая в промасленную бумагу. Рядом — эмалированная кружка. С трещиной по краю, тёмной, как шрам. Он налил в неё воды из бидона, поставил на бочку. Вода зашипела, пошла пузырями. — Оленя забрали. С «Тенями» поговорили.

— Поговорили, — Серый бросил кожанку на мешковину в углу. Сел, вытянул ноги. Лицо у него было серое, скулы заострились. — Поговорили и ушли. Как бабы на базаре.

— Заткнись, — Иван не обернулся. Разрезал хлеб ножом на четыре части. Одна — чуть больше, три — одинаковые. Он положил свою долю на край верстака, остальные раздал. Бородачу — большую, потому что тот был крупнее. Серому и Дыму — по ровной. Себе оставил самую малую.

— Чего мне больше? — Бородач взял хлеб, понюхал. — Я не барин.

— Ешь.

— Ем, ем.

Дым сидел на корточках у стены, вертел в руках зажигалку. Огонёк вспыхивал и гас. Он смотрел на него, как на что-то живое. Потом спрятал, взял свою кружку.

Ели молча. Только ложки позвякивали о жестяные края, да дрова потрескивали. Хлеб был сухой, тёмный, с горьковатой коркой. Иван жевал медленно, чувствуя, как крошки царапают горло. Вода пахла рекой — тиной и железом. От кружки поднимался пар, смешивался с запахом тины.

— Рыбой пахнет, — сказал вдруг Бородач. — Вроде пусто, а всё равно пахнет. Как будто банка где-то стоит.

— Это от Дыма, — Серый кивнул в сторону. — Он вчера банку вылизывал. Даже жёсть скреб.

— Не скрёб я, — Дым не поднял глаз. — Я её водой ополоснул.

— Всё равно пахнет.

— Хватит, — Иван поставил кружку. Металл звякнул о верстак. — Поели — и спать. Завтра в «Рассвет». Если там пусто, идём к реке, к лодочной станции.

Бородач хмыкнул. Откусил хлеб, прожевал, запил. Потом откинулся на ящике, посмотрел на Ивана. Взгляд был хитрый, но без злобы.

— Слышь, командир. Вот ты нас водишь. Туда, сюда. Порядок держишь. Всё по-честному делишь. — Он помолчал, глянул на свою долю хлеба, потом на долю Ивана — самую малую. — А отцы-то наши не так делили, нет. Кто сильнее — тот и прав. Помнишь, у Гвоздя? За жратву передрались, двоих зарезали. А ты — как будто не их породы.

Иван не ответил сразу. Дожевал хлеб, медленно, будто не расслышал. Потом положил ложку. Руки сами легли на край верстака — пальцы побелели на кромке. Слово «отцы» повисло в воздухе, тяжёлое, как камень, и не хотело падать. Иван смотрел в стену, поверх головы Бородача. Он не помнил, как кричал. Помнил ту зиму — восемьдесят девятый, когда печка в углу не справлялась, а отец стоял у стола, и ремень в его руке казался чем-то отдельным, живым. Помнил, что хлеба не было. И что отец не стал слушать. Просто не стал — и всё. Иван сжал в кармане кварц. Камень лежал в кулаке — твёрдый, тяжёлый.

— Не говори про отцов, — сказал он. Тихо.

— Я чего, я ничего. — Бородач поднял ладони. — Просто к слову.

— Нет такого слова. — Иван встал. — Всё. Ужин закончен. Дым, ты первый на часах. Через три часа разбудишь Серого.

— Понял.

— Остальные — спать. Завтра встаём затемно.

Он отошёл к своему углу, лёг на мешковину, отвернулся к стене. Стужа пробиралась сквозь мешковину, добиралась до костей. За спиной ещё слышалось, как Бородач что-то бормочет, как звякает кружка. Потом всё стихло. Только бочка трещала, и где-то далеко, за стенами, шумела река.

Он лежал с открытыми глазами. Потолок над ним был чёрный, только трещины ловили отсвет углей из бочки. Бородач спал у стены, на боку, тяжело дышал. Серый — у верстака, закутавшись в кожанку с головой. Дым сидел на часах у двери, но и он, кажется, клевал носом — голова опущена, зажигалка зажата в кулаке.

Иван повернулся на бок. Мешковина под ним была стылая, влажная. Он подтянул ноги, натянул бушлат до подбородка. Сон не шёл. Внутри сидело что-то тяжёлое, как проглоченный камень. Хлеб, разговор, слова Бородача про отцов. Он сжал кулак, разжал. Ещё раз. Пальцы слушались, но в суставах была тупая, ноющая боль — от стужи.

И тут он уснул бы, наверное. Если бы не гул.

Сначала это было почти незаметно — как будто далёкий поезд шёл где-то под землёй, или ветер гудел в трубе, или кровь стучала в ушах. Но ветра не было, и поезда здесь не ходили уже давно, и Иван, прислушавшись, понял, что звук идёт снизу — не из бочки, не с улицы, а из-под пола. И он лежал, и слушал, и не мог пошевелиться, потому что в этом звуке было что-то, от чего тело само становилось чужим — тяжёлым, неповоротливым, будто налитым свинцом; и в этом гуле, который шёл из глубины, из-под бетона, из-под земли, из-под самой тайги, было что-то древнее, старше леса, старше реки, старше всего, что Иван знал и понимал, — что-то, что просыпалось медленно, как просыпается земля после долгой зимы, и от этого пробуждения хотелось забиться в угол, закрыть глаза и не дышать, потому что если оно проснётся окончательно — никому не будет места на этой земле.

Он сел. Мешковина сползла. Воздух вокруг сделался ледяным, будто кто-то открыл невидимую дверь. Иван поставил ладони на пол. Шершавый, ледяной. Под пальцами — едва уловимая дрожь. Как будто под цехом что-то работало. Медленно, ритмично. Не механизм. Механизм звучал бы иначе. Это было глубже, тише.

Он встал. Ботинки стояли рядом, он сунул в них ноги, не зашнуровывая. Шагнул к окну. По дороге глянул на Дыма — тот спал сидя, зажигалка выпала из руки, лежала на полу. Иван не стал будить.

Разбитое окно было затянуто куском фанеры, но в углу осталась щель. Он приник к ней. Снаружи — темнота. Ни луны, ни звёзд. Небо глухое, без единого проблеска. Только где-то

далеко, в стороне Чёрной Сопки, оно чуть светлее. Не рассвет. Что-то другое. Мутное, как бельмо.

Иван прижался лбом к раме. И тут заметил: стекло в углу окна, то, что уцелело, — дрожит. Мелко, часто. Он коснулся его пальцем. Стекло вибрировало. Тонко, часто. Звук шёл от него, а не от пола. Как будто стекло было барабаном, а за ним — невидимая рука. Но снаружи никого не было.

Гул стал громче. Теперь он слышал его не только ушами — чувствовал ступнями. Пол под ногами ходил ходуном, едва заметно. Иван опустил взгляд. Лужица воды у верстака — та, что натекала с балки — подрагивала. По её поверхности расходились круги, как от брошенного камня. Но камня не было.

Он посмотрел в сторону Чёрной Сопки. Сопка стояла далеко, за лесом, за двумя грядами, за рекой — и Иван знал её с детства, знал каждую трещину на её склонах, каждый выход молочно-белого кварца на вершине, куда лазил мальчишкой, чтобы приложить ухо к серой породе и услышать тихий звон, похожий на гул провода под ветром. Но тогда этот звон длился секунду, а теперь не прекращался. Он шёл оттуда, из самой глубины, из-под подошвы Сопки, и в нём было что-то, от чего кровь стыла в жилах, — не угроза, не злоба, а нечто худшее: равнодушие. Такое же равнодушное, как сама земля. Как камень. Как время.

Звук был низкий, тянущий, не механический. Так мог бы гудеть камень, если бы у него было горло.

Стекло дрожало сильнее. Иван сжал челюсти. В ушах зазвенело — высоко, противно. Как будто кто-то вёл по краю стекла мокрым пальцем. Он хотел отойти, но ноги не слушались. Стоял и смотрел в темноту, пытаясь разглядеть хоть что-то. Ничего. Только чёрные стволы сосен, мокрые от росы. И над ними — та же глухая чернота.

Гул достиг пика. Стекло задрожало так, что, казалось, вот-вот лопнет. Иван задержал дыхание. Пар перестал выходить. Тишина. Потом — резкий щелчок. Где-то в стене. Как будто лопнула перегородка. И всё стихло. Стекло замерло. Пол перестал дрожать. Круги на воде расплылись и исчезли.

Иван ещё постоял у окна. Потом отступил. Вернулся на лежанку, лёг. Угли в бочке почти погасли, только чуть тлели. Дым спал, уронив голову на грудь. Бородач храпел. Серый не шевелился.

Иван смотрел в потолок. Сон не шёл. В голове было пусто. Только где-то на самом дне, под рёбрами, всё ещё сидел тот же камень. Тяжёлый. Ледяной. Как осколок стекла, который дрожит, даже когда всё стихло. И где-то у бедра, в кармане, лежал кварц. Обычная галька. Он больше не казался тёплым.

Глава 2

ГЛАВА 2

Песнь камней

Аня проснулась от стужи. Оленья шкура сползла на пол, и ледяной воздух чума забрался под меховую рубаху, пробрал до костей. Она села, подтянула колени к груди, дыша на ладони. Пар изо рта повис перед лицом, медленно растаял в полумраке.

Чум был низкий, прокопчённый. Очаг в центре ещё тлел — красные угли под серым пеплом, слабое тепло. Бабушка сидела у огня на оленьей шкуре, поджав ноги. Её руки — коричневые, в морщинах, как старая берёста — держали кружку. Из кружки поднимался пар, густой, пахнувший травами и дымом.

— Проснулась, — бабушка не обернулась. Голос был тихий, надтреснутый. Она помешала что-то в кружке сухой веточкой. — Садись. Пей.

Аня поднялась, накинула на плечи шкуру, подошла. Села напротив, протянула руки к огню. Угли вспыхнули, лизнули сухую кору. Тепло коснулось лица. Она взяла кружку. Глиняная, тяжёлая, с трещиной по краю. Отвар пах горько — полынь, багульник, ещё что-то, чего Аня не знала. Она сделала глоток. Горло обожгло, потом стало тепло.

— Земля стонет, — сказала бабушка. Она смотрела на огонь, и в её глазах, чёрных, глубоких, плясали отблески. — Духи не спят. Всю ночь ходили. Я слышала.

— Я тоже слышала, — Аня обхватила кружку обеими руками. Пальцы согрелись, закололи иголками. — Под полом дышит кто-то. Большой.

— Не под полом. — Бабушка покачала головой. Медные кольца на пальцах звякнули. — Под камнем. Сопка дышит. Она всегда дышала, только раньше тихо. А теперь громко. Слишком громко.

Аня отпила ещё. Отвар был тёплый, но не горячий. Бабушка никогда не давала кипятка — говорила, что вода должна помнить огонь, а не кипеть от него. В чуме пахло дымом от кизяка, сушёной рыбой, развешанной под потолком, и травами. Пучки сухого багульника висели у входа, качались от сквозняка. На груди у Ани, под рубахой, висел амулет. Маленький медведь из тёмного дерева, обмотанный сухожилием. Бабушка дала его, когда Аня была совсем маленькой. Сказала: «Это не игрушка. Это память. Пока он у тебя, тайга тебя знает».

— Сегодня далеко на север не ходи, — бабушка повернулась к ней. Лицо у неё было тёмное, сухое, как старая земля. Глаза смотрели прямо. — Слышишь? Не ходи. Там плохое место. Голова закружится, ноги сами поведут. И не заметишь, как уйдёшь. Я знаю. Я видела таких.

— На север мне не надо, — Аня пожала плечами. — Сети на востоке. Ягель — у реки. Олени объели, надо собрать.

— Рыбу проверь. Ягель собирай. Но на север — ни шагу. — Бабушка протянула руку, накрыла ладонь Ани своей. Кожа была шершавая, тёплая. — Обещай.

Аня кивнула. Бабушка редко говорила просто так. Если сказала — значит, знала. Она всегда знала. Знала, когда придёт дождь, когда олени уйдут на другой пастбище, когда в чум придут гости. Знала и молчала. Но иногда предупреждала. Как сейчас.

— Обещаю, — сказала Аня.

Бабушка отпустила её руку, снова повернулась к огню. Запела тихо, под нос. Слова были неразборчивые, старые, тягучие. Аня не понимала их, но знала, что это не просто песня. Так бабушка разговаривала с огнём. С духами. С тайгой.

Аня допила отвар, поставила кружку на землю. Поднялась, сбросила шкуру. Начала собираться. Натянула меховые унты, подвязала ремни. Накинула куртку из оленьей кожи, прове-

рила нож на поясе. Гул под ногами стих. Земля замерла. Только дрова в очаге потрескивали, да бабушка пела.

Выйдя из чума, Аня вдохнула зябкий воздух. Небо было серое, низкое. Над лесом висела плотная хмарь — ни просвета, ни солнца. Она смотрела на неё несколько секунд, потом отвернулась. Надо было проверить сети, собрать ягель, накормить оленей. На север — не пойдёт. Сегодня — не пойдёт.

Тускар ждал её у костра, не у чума, а чуть в стороне, где вчера вечером жгли сушняк. Кострище ещё дымилось, серые угли подёрнулись пеплом. Тускар сидел на корточках, спиной к лесу. Широкая меховая безрукавка топорщилась на плечах, на поясе висел медвежий коготь — длинный, загнутый, жёлтый от времени. Он не обернулся, когда Аня подошла, только чуть повёл головой.

— Долго спишь, — сказал он.

— Бабушка отвар давала. Говорила, земля стонет.

— Стонет, да. — Тускар поднялся. Ростом он был не выше Ани, но в плечах — косая сажень. — Всю ночь стонала. Олени беспокоились. Я ходил, смотрел.

Он двинулся к лесу, не оглядываясь. Аня пошла следом. Тропа была узкая, вилась между сосен, огибала валежник. Под ногами пружинил мох, мокрый от росы. Пахло хвоей и речной водой. Где-то недалеко журчал ручей. Птицы кричали редко, будто тоже прислушивались. Шли молча. Тускар не любил разговаривать зря. Аня знала это с детства. Он был из тех, кто сначала смотрит, потом думает, и только потом говорит. Если говорит.

У ручья он остановился. Ручей был неглубокий, вода тёмная, торфяная. Через него было перекинуто бревно — старое, скользкое. Тускар показал рукой вниз, на землю у самой воды.

— Смотри.

Аня присела. На глинистом берегу, там, где ручей подмывал корни, темнели следы. Сапоги. Чёткие, глубокие. Подошва с рубчатым рисунком — ёлочкой. Не эвенкийские. У них подошвы гладкие, из сыромятной кожи. А эти — фабричные, тяжёлые. Она провела пальцами по отпечатку. Глина была стылая, но след уже начал подсыхать. Свежий. Ночной.

— Вчера тут не было, — сказал Тускар. Он стоял над ней, скрестив руки. — Я вчера ходил этой тропой. Утром. Пусто было.

— Сколько их? — Аня поднялась, отряхнула колени.

— Двое. Может, трое. — Тускар кивнул на сломанную ветку, что висела над тропой. Ветка была сухая, но излом — белый, свежий. — Один высокий. Ветку задел головой. Второй ниже. Шли к ручью, потом обратно. В сторону русских.

Аня нахмурилась. Русские. Лесопилка была к юго-востоку, за двумя грядами. Оттуда иногда приходили — за рыбой, за ягелем, за дичью. Но в последние дни не приходили. Аня знала: у них свои проблемы. Ссоры, голод, холод.

— Ты видел их?

— Нет. Только следы. — Тускар потрогал коготь на поясе. — Ночью ходили. Как воры. Если бы говорить хотели — днём пришли бы, к костру. А эти — тайком. Плохо.

Он помолчал, потом добавил:

— Дозоры надо ставить. Больше. Со стороны ручья. И у старой сосны, где тропа раздваивается.

Аня кивнула. Тускар был прав. Если чужие ходят ночью, надо смотреть в оба. У них не так много людей — старики, женщины, дети. Мужчин — трое, считая Тускара. Ещё подростки, но какие из них воины.

— Двоих у ручья поставим, — сказала она. — И одного у сосны. Кэрэну скажу.

— Кэрэн молодой. Спит крепко.

— Разбужу.

Тускар хмыкнул. Посмотрел на небо. Оно было серое, ровное, как оленья шкура. Ни просвета, ни солнца.

— Бабушка говорит, на север не ходить. Говорит, камни поют.

— Поют, да. Я слышал ночью. Как будто стонет кто-то. Но не злой. Просто старый. — Он помолчал. — Слушай её. Она не просто так говорит.

Они пошли обратно. Тропа поднималась в горку, между корявыми соснами. На ветках висели клочья мха, серые, как бороды. Аня шла следом за Тускаром, смотрела под ноги. Следов больше не было. Чужие шли по ручью, потом свернули. Аккуратно. Но ветку всё равно задели. Значит, торопились.

У стойбища их встретил запах дыма и варёной рыбы. Женщины уже хлопотали у котлов. Дети бегали между чумами, играли в палочки. Аня остановилась у крайнего чума, где жил Кэрэн с матерью.

— Кэрэн! — позвала она.

Из чума высунулась заспанная физиономия. Мальчишка, лет четырнадцати. Волосы всклокочены, глаза мутные.

— Чего?

— Вставай. Пойдёшь в дозор. К ручью.

— Сейчас?

— Сейчас. Тускар скажет, где встать.

Кэрэн исчез в чуме, загремел чем-то. Аня обернулась. Тускар стоял в стороне, смотрел на лес. Она подошла к нему.

— Думаешь, они вернуться?

— Вернутся. Ночью. Или завтра. Они что-то ищут. — Он повернул голову, посмотрел на Аню. Глаза у него были узкие, тёмные, как угли. — Ты амулет носишь?

Аня коснулась груди через ткань.

— Ношу.

— Носи. Он тебя знает. Тайга тебя знает. Пока так — не тронут.

Вихрь ждал их у большого костра, где обычно собирались старейшины. Он не сидел, а стоял, переминаясь с ноги на ногу. Молодой, жилистый, с вечно сбитым дыханием. Увидев Аню, шагнул навстречу, заговорил быстро, глотая слова.

— Русские! На тропе у развилки перехватили. Трое их было. Мы с Бату оленя несли, а они — навстречу. Один — командир, угрюмый, молчаливый. Второй — со шрамом от ожога на пол-лица, за нож сразу хватался. Третий — пацан длинный, зажигалкой всё щёлкал. Оленя хотели отнять.

Аня остановилась.

— Отдали?

— Чёрта с два! Мы с Бату стояли крепко. Тот, со шрамом, дёрнулся было, но их командир осадил. Сказал: в следующий раз стрелять будут без разговоров. Но тушу мы отстояли. Вон она, в чуме у Орлана, уже разделали.

Он говорил громко, и на голос уже собирались люди. Женщины с котлами, старики с трубками, подростки. Собаки подняли лай, закрутились у ног. Пахло дымом, свежим мясом и кровью — Вихрь и вправду только что доводил до конца разделку: снимал остатки с костей, складывал в мешок. Руки у него были в бурых пятнах, под ногтями запеклось.

Из чума выскочил Орлан. Молодой, широкоплечий, с обветренным лицом. За ним — двое охотников, братья. Все трое — из одной семьи, что жила на краю стойбища. У Орлана на поясе висел нож в потёртых ножнах, а за плечом — лук. Он подбежал, оттолкнул кого-то из толпы.

— Перешли границу! — крикнул он, не глядя на Аню. — Надо ответить! Я братьев возьму, пойду к лесопилке. Сожгу их цех к чёртовой матери. Пока они не вернулись!

Аня шагнула вперёд. Она знала Орлана с детства — он был из тех, кто сначала бьёт, потом думает. Но сейчас в его глазах был не только гнев. Был план. И это было хуже.

— погоди, — сказала она. — Не «сожгу». Ты что предлагаешь?

Орлан остановился. Дышал часто, но глаза сузились — он не ожидал, что его спросят.

— Перехватить их на тропе, — сказал он. — Когда они пойдут к «Рассвету». Я знаю их тропу. Знаю, где они останавливаются. Мы с братьями сядем в засаду. Ночью. Возьмём языка. Узнаем, что у них там.

Тускар за спиной Ани шевельнулся. Не шагнул вперёд, не перекрыл дорогу — просто шевельнулся. И Аня поняла: план ей нравится. Он хороший. Но она не может его принять.

— Не пушу, — сказала она.

— Почему? — Орлан шагнул ближе. — Потому что я молодой? Потому что не командир? Скажи честно, Аня. План хороший. Ты сама знаешь.

— Хороший, — согласилась она. — И поэтому не пушу. Потому что если ты возьмёшь языка — они придут за ним. Все. С автоматами. И тогда уже неважно будет, кто первый начал.

Орлан замер. Братья за его спиной переглянулись. Один сплюнул под ноги. Другой положил ладонь на древко копья. Не поднял. Но положил. И Тускар — Тускар молчал. Аня чувствовала его за спиной, чувствовала, что он не перекрывает дорогу Орлану, не встаёт рядом с ней. Он ждал. И это было хуже, чем если бы он спорил.

— Ты не понимаешь, — сказал Орлан. — У меня мать. Сестра. Если они придут — они не будут разговаривать. Они просто сожгут.

— И поэтому ты хочешь привести их сюда? — Аня шагнула ближе. — Ты возьмёшь языка, они придут. Ты убьёшь его — они придут. Ты отпустишь его — они придут. Единственный способ не привести их — не начинать. Ты этого не понимаешь?

Орлан замер. Кулаки разжались, потом снова сжались. Он смотрел в сторону, сопел. Братья за его спиной не расходились. Тот, что сплюнул, смотрел на Аню тяжёлым, недоверчивым взглядом. В толпе кто-то негромко, но внятно сказал: «Оленя-то не вернём». Орлан услышал. Плечи у него дёрнулись.

— Ладно, — сказал он глухо. — Но если они вернутся — я не буду стоять. Слышишь? Не буду.

— Не будешь, — согласилась Аня. — Но сначала — понять, сколько их и что задумали.

Орлан постоял ещё секунду. Потом развернулся и пошёл к своему чуму. Братья — за ним. Один, уходя, ещё раз сплюнул. Аня смотрела им в спины. Она понимала Орлана. Понимала страх. И понимала, что план его был хорош. И что она только что потеряла часть своего авторитета — потому что отказала не из слабости, а из осторожности. А осторожность в голодной тайге стоит дешевле храбрости.

Тускар вышел вперёд, встал рядом с Аней. Посмотрел на Орлана, потом на Вихря.

— Вихрь, ты следы видел? Куда они пошли?

— На юго-восток. К лесопилке. — Вихрь почесал затылок. — Шли быстро. Не оглядывались.

— Значит, не боятся. Или торопятся. Надо посмотреть, что у них там. Может, готовятся к чему-то. Может, просто голодные.

— Голодные не угрожают, — буркнул Орлан от своего чума, не оборачиваясь.

— Голодные — самые опасные. Я видел голодных. Они как волки зимой. Всё равно, что им терять.

Аня обвела взглядом собравшихся. Люди молчали, ждали. Она видела страх в глазах женщин, злость у молодых. Вихрь стоял, опустив голову. Орлан — у своего чума, сжав лук. Тускар — спокойный, надёжный. И Аня знала: он не поддержал её. Не спорил, но и не встал рядом так, как мог бы. Он ждал. Проверял. Может быть, впервые за долгое время — сомневался.

— Слушайте, — сказала она громко. — Сегодня ночью усиливаем дозоры. Двое у ручья, двое у старой сосны. Ещё двое — по краю стойбища, с собаками. Если кто-то подойдёт — не стрелять без приказа. Сначала сигнал, потом решаем.

Она повернулась к Тускару.

— Завтра с утра пойдём к «Рассвету». Я и ты. Проверим. Вернёмся к вечеру.

Тускар кивнул. Медленно. И в этом кивке Аня не прочитала ни одобрения, ни поддержки. Просто согласие. Просто — «ладно».

— Вихрь пусть остаётся, — сказала Аня. — Он молодой. Если что случится — он поведёт людей к бабушке.

— Согласен, — сказал Тускар.

Аня подошла к костру. Подняла с земли олений рог — тот, что Вихрь бросил, когда прибежал. Рог был обломан, конец — неровный, свежий скол. Она повертела его в руках. Тяжёлый, тёплый ещё. Значит, олень дался не без боя. Значит, чужие своего не упустят.

Она подняла голову. Люди всё ещё стояли, ждали. Ветер шевельнул волосы, принёс запах реки.

— Всё, — сказала она. — Расходимся. Тускар — расставь людей сам. Ты знаешь, где лучше.

Тускар кивнул. Орлан постоял ещё секунду, потом развернулся и пошёл к своему чуму. Лук снял, но не убрал — положил у входа, в пределах досягаемости. Аня видела это. И промолчала.

Аня отошла от костра, когда люди начали расходиться. Орлан ушёл к себе, Вихрь — к чуму за рыбой, Тускар остался у огня, что-то тихо говоря старикам. Собаки улеглись у входа, положив морды на лапы. Ветер стих, и дым от костра поднимался ровным столбом, уходя в серое небо.

Она пошла вглубь стойбища, мимо чумов, мимо сушильных рам с рыбой, к дальней сосне, что стояла на краю, у самого леса. Там, под корнями, лежал камень. Плоский, серый, с белыми прожилками кварца. Аня не знала, правда это или нет, но камень всегда был здесь. Под сосной, у самого леса.

Искра сидела на земле, поджав ноги. Спина к сосне, лицом к лесу. На коленях у неё лежал бубен — старый, обтянутый оленьей кожей, с ободом из берёзы. Кожа была туго натянута, но по краям уже потемнела от времени. Пальцы Искры — тонкие, в медных кольцах — лежали на поверхности. Она не била в бубен. Просто держала. И кожа под её пальцами дрожала. Мелко, часто — как натянутая тетива, если тронуть её пальцем.

Аня подошла, остановилась в двух шагах. Искра не обернулась. Глаза у неё были закрыты, губы шевелились — беззвучно, едва заметно. Она что-то шептала. Не песню. Слова. Старые, тягучие, как смола.

— Садись, — сказала Искра, не открывая глаз.

Аня опустилась на мох рядом. Камень лежал между ними. Серый, с белыми жилами. Из трещин пробивался мох — мягкий, зелёный. Пахло сыростью и камнем. И ещё чем-то — слабым, травяным. Ладан. Искра жгла его утром, окуривала стойбище. Запах остался в воздухе, впитался в одежду.

— Ты слышала? — спросила Искра.

— Стонет. Ночью. Все слышали.

— Не стонет. Поёт. — Искра открыла глаза. Они были тёмные, глубокие, как вода в проруби. — Камни поют громче. Раньше они шептали. Теперь поют.

Она сняла ладони с бубна. Кожа перестала дрожать. Искра положила руки на камень. Пальцы коснулись кварцевых прожилок. Аня смотрела, как медные кольца поблёскивают на солнце. Солнца не было — серое небо, ровный свет. Но кольца всё равно блестели.

— Дай руку, — сказала Искра.

Аня протянула ладонь. Камень был стылый — как всё вокруг. Под пальцами что-то дрожало. Едва-едва, на грани ощущения. Как будто далеко под землёй что-то работало. Она замерла, прислушалась. Дрожь шла снизу, из-под земли. Откуда-то далеко. Может, с Чёрной Сопки. Может, глубже. И в этой дрожи, в этом едва уловимом колебании камня под ладонью было что-то, от чего рука сама становилась чужой — тяжёлой, неповоротливой, будто налитой свинцом; и Аня вдруг поняла, что если она не отнимет руку сейчас, то не отнимет уже никогда, потому что камень держал её не силой, а чем-то другим — тишиной, покоем, равнодушием, тем самым равнодушием, которое было хуже любой угрозы, потому что угроза боится, а равнодушие — нет.

— Чувствуешь? — Искра наклонилась ближе. Косички с медными кольцами качнулись, звякнули. — Это не ветер. Не вода. Это земля. Она просыпается.

— Бабушка сказала — на север не ходить, — Аня убрала руку. Ладонь онемела. — Говорит, камни поют громче. Если подойти близко — уведёт.

— Бабушка знает, — Искра кивнула. — Она старая. Она слышала это раньше. Давно. Когда камни пели в первый раз.

— В первый раз?

Искра не ответила. Она снова положила пальцы на бубен. Кожа опять задрожала. Искра зашептала — тихо, нараспев. Слова были незнакомые. Не эвенкийские. Старше. Может, те, что бабушка пела у огня.

Аня смотрела на камень. На белые прожилки. Они слабо светились. Не как огонь — как снег в лунную ночь. Тускло, мертвенно. Она снова коснулась амулета на груди. Медведь. Деревянный, тёплый от тела.

— Искра, — Аня понизила голос. — Что будет?

Искра перестала шептать. Открыла глаза. Посмотрела на Аню. Долго. Потом сказала:

— Духи предупреждают. Скоро что-то будет. Не сегодня. Может, завтра. Может, через три дня. Но будет.

— Что именно?

— Не знаю. Камни не говорят словами. Они поют. А песня — это не разговор. Это чувство. Тревога. Как перед бурей. Когда воздух густой и всё внутри сжимается.

Она убрала руки с бубна. Кожа замерла. Камень под ладонями Ани тоже перестал дрожать. Тишина. Только листва шелестела на ветру, да где-то далеко собака брехала.

Аня встала. Отряхнула колени. Мох прилип к ладоням, она стёрла его о штаны.

— Я скажу Тускару. Пусть дозоры смотрят внимательнее.

— Скажи, — Искра кивнула. — И ещё. — Она подняла на Аню глаза. — Ты сегодня не ходи на восток. Там тоже камни. Маленькие. Под корягами. Они тоже поют. Но злее. Если услышишь — поворачивай.

— Я не собиралась на восток. Мне сети проверить.

— Проверь. Но если услышишь звон — уходи.

Аня кивнула. Постояла ещё секунду. Искра снова закрыла глаза, положила руки на бубен. Кожа под пальцами дрогнула. И снова — тихий шёпот, старые слова, тягучие, как дёготь.

Аня пошла обратно к стойбищу. Камень остался позади. Но холод от него — ровный, как всё вокруг, — ещё держался в ладони. Она сжала кулак, потом разжала. Посмотрела на небо. Оно было серое, ровное, без единого просвета. Где-то под ним, глубоко, пели камни. И Аня знала: это не кончится добром.

К вечеру того же дня Аня вернулась к своему чуму. Солнце уже клонилось к западу. Небо на западе было чуть светлее — серое, с жёлтой полосой у горизонта. В стойбище пахло дымом и сушёной рыбой. Зябкий воздух тянул с реки, приносил сырость. Дыхание выходило ровно, но тонко — вечер только начинался.

Она стояла у входа в чум, не заходя внутрь. Руки опущены, плечи прямые. Она не касалась амулета. Просто стояла и смотрела, как гаснет полоса за лесом.

За спиной слышались шаги. Тяжёлые, неторопливые. Она не обернулась. Знала, кто.

Тускар подошёл, встал рядом. Молчал. От него пахло дымом и мокрой хвоей. Он тоже смотрел на запад, туда, где садилось солнце. Коготь на поясе покачивался, когда он переступал с ноги на ногу. С минуту они стояли так — двое, спиной к чуму, лицом к догорающей полосе. Потом Тускар заговорил. Негромко, будто не Ане — лесу.

— День был долгий. А завтра — длиннее.

Аня не обернулась.

— Завтра. Затемно.

Тускар кивнул. Медленно. Пальцы его сами легли на рукоять ножа — старого, с обмотанной кожей ручкой, — потом поднялись выше, коснулись медвежьего когтя. Жёлтого, загнутого, отполированного годами. Он всегда так делал, когда думал. Аня знала это с детства — и знала, что если он тронул коготь, значит, в голове у него уже прокручивается что-то тяжёлое.

— Земля дышит не туда, — сказал он наконец. Глухо, в сторону леса. — У нас в роду все через это прошли. Дед говорил: кто слышит — тот не спит. Кто не слышит — того уже нет.

Он замолчал. Ветер шевельнул хвою на соснах, принёс запах реки. Собаки не лаяли. Тишина. Только гул — далёкий, ровный.

— Завтра, — сказала Аня. — Затемно. Вдоль ручья, потом через овраг. К «Рассвету» подойдём с юга. Чтобы не видели.

— С юга — это через болото. — Тускар нахмурился. — Там топко. Если дождь был — увязнем.

— Дождя не было. Земля сухая.

— Земля стонет. Не сухая.

Аня посмотрела на него. Он был прав. Земля стонала. Это меняло всё. Тропы, которые вчера были крепкими, сегодня могли стать зыбкими. Камни пели — значит, под землёй что-то двигалось. Может, вода. Может, что-то другое.

— Тогда через овраг, — сказала она. — Не по низу, а по гребню. Там скалы. Камень твёрдый.

— По гребню долго. Если русские уже там — увидим издалека.

— Нам и надо издалека.

Тускар кивнул. Медленно, как будто взвешивал каждое движение. Потом сказал:

— Бабушка знает?

— Нет.

— Скажи. Она должна знать. Если что-то случится — она поведёт людей.

Аня сжала кулак. Амулет под рубахой, тёплый, прижался к груди. Она не хотела говорить бабушке. Бабушка будет волноваться. Будет шептать заклинания, жечь травы, смотреть на небо. Но Тускар прав. Бабушка — старшая. Если Аня не вернётся, люди должны знать, что делать.

— Скажу утром. Перед выходом.

— Скажи вечером. Чтобы всю ночь знала. Если что — успеет.

Аня вздохнула. Пар изо рта поднялся облаком, растаял в зябком воздухе.

— Ладно. Скажу сейчас.

Она шагнула к чуму, но остановилась. Обернулась. Тускар стоял неподвижно, как скала. Широкие плечи, коготь на поясе, тяжёлые руки. Он смотрел на запад. Там, за лесом, догорала полоса света. Солнце село. Похолодало.

Аня вошла в чум. Бабушка сидела у очага, помешивала что-то в котле. Посмотрела на Аню. Глаза старые, мудрые. И тут Аня увидела: бабушка не просто смотрела. Она боялась.

Впервые за всё время — боялась. Это было в том, как она держала веточку, как сидела — слишком прямо, слишком неподвижно. Как будто ждала удара.

— Завтра, — сказала Аня. — Я иду к «Рассвету». С Тускаром.

Бабушка не ответила. Не кивнула. Она отвернулась — медленно, будто через силу, — и закрыла лицо ладонями. Не по-шамански. Не как старая ведунья, знающая всё наперёд. А как старая женщина, которая вдруг поняла, что не знает ничего. Что все её травы, все её песни, все её духи — ничто перед тем, что идёт.

Аня села рядом, протянула руки к огню. И тут бабушка сделала то, чего Аня не видела никогда. Она убрала ладони от лица, наклонилась вперёд — и накрыла угли в очаге ладонью. Просто накрыла. Пальцы зашипели, кожа покраснела, но бабушка не отнимала руку. Она держала её над огнём — долго, не мигая. И смотрела не на Аню, а куда-то сквозь, за стены чума, туда, где под землёй что-то просыпалось.

Камни гудели. Земля стонала.

Завтра будет долгий день.